



**С. П. ШЕВЫРЕВ**

**«Похождения Чичикова, или Мертвые души».  
Поэма Н. Гоголя**

**СТАТЬЯ ВТОРАЯ**

Положим, говорят нам возражатели, что эта грубая жизнь, как и все в мире, может быть предметом наблюдений практического философа или государственного человека, который ее изучает точно так же, как естествоиспытатель изучает гад и все низкое в природе<sup>1</sup>. Да какой же интерес может она предложить Поэту? Какая связь между такой жизнью и искусством?

Сейчас, сейчас предложим ответ на ваш вопрос, который следует в порядке нашего рассуждения. Но прежде припомним еще одно из замечаний, напечатлевшееся в нашей памяти по остроумию, с каким было предложено: теперь переходя от вопроса о жизни к вопросу об искусстве и художнике, настоящее время отвечать на него. Вы спрашивали нас: «Не правда ли, что, странствуя по России, вы согласитесь скорее дать 30 верст крюку, чем встретиться с каким-нибудь Собакевичем или Ноздревым? Какая же охота встречаться с ними в Поэме, когда и наяву они представляются для нас страшным кошмаром? Можно ли впустить хотя одно из лиц этой Поэмы далее своей передней?» — Но позвольте и нам предложить вопросы в свою очередь. Смотрите на улицу: вот пьяница шатается по тротуару; вот извозчик навеселе мчит на удалой тройке: вы, конечно, обойдете за несколько шагов этого пьяницу и не впустите извозчика, особенно же с его тройкой, в вашу гостиную; но изобрази вам пьяницу Теньер своею веселою кистию, нарисуй вам Орловский<sup>2</sup> извозчика лихача с удалою тройкою бессмертным карандашом своим — и пьяница Теньеров, и тройка Орловского будут красоваться в вашей гостиной на самом первом, почетном месте, выше каких-нибудь других важных

картин, рисованных кистью не столько искусною. Такова привилегия художества.

Велик, просторен и чудно разнообразен мир Божий: есть место в нем для всего. Живут в нем и Собакевичи, и Ноздревы. Таков же точно и мир искусства, создаваемый художником: и в нем должно быть место всему, и ничем не пренебрегает многообъемлющая фантазия Поэта, которой подведом весь мир от звезд до преисподних земли: все свободно воспримлет она в себя и воспроизводит свою чудную властью. Не что избрал художник, а как он это воссоздал и как связал мир действительный с миром своего изящного — вот то, что собственно касается искусства.

Первый вопрос о том, что изобразил художник, относящийся к определению связи, какая находится между произведением и жизнью, нами уже решен. Перейдем же теперь ко второму: как изобразил художник жизнь, им избранную.

Одно из первых условий всякого изящного произведения искусства есть водворение полной блаженной гармонии во всем внутреннем существе нашем, которая не свойственна обыкновенному состоянию жизни. Но изображение предметов из грубой, низкой, животной природы человека производило бы совершенно противное тому действие и нарушало бы вовсе первое условие изящного впечатления — водворение гармонии в нашем духе, — если бы не помогало здесь усилие другой стороны, возвышение субъективного духа в самом Поэте, воссоздающем этот мир. Да, чем ниже, грубее, материальнее, животнее предметный мир, изображаемый Поэтом, тем выше, свободнее, полнее, сосредоточеннее в самом себе должен являться его творящий дух; другими словами, чем ниже объективность, им изображаемая, тем выше должна быть, отрешеннее и свободнее от нее его субъективная личность.

Сия последняя проявляется в юморе, который есть чудное слияние смеха и слез, посредством коего Поэт соединяет все видения своей фантазии с своим собственным человеческим существом. Неистошим комический юмор Гоголя; все предметы, как будто нарочно, по его воле становятся перед ним смешною их стороною; даже имена, слова, сравнения подвертываются к нему такие, что возбуждают смех; конечно, заразительный хохот пронесся вместе с «Мертвыми душами» по всем пределам России, где только их читали. Но тот не далеко слышит и видит, кто в ярком смехе Гоголя не замечает глубокой затаенной грусти. В «Мертвых душах»

особенно часто веселость сменяется задумчивостью и печалью. Смех принадлежит в Гоголе художнику, который не иным чем, как смехом, может забирать в свои владения весь грубый скарб низменной природы смешного; но грусть его принадлежит в нем человеку. Как будто два существа виднеются нам из его романа: Поэт, увлекающий нас своею ясновидящею и причудливою фантазиею, веселящий неистощимою игрою смеха, сквозь который он видит все низкое в мире, — и человек, плачущий глубоко и чувствующий иное в душе своей в то самое время, как смеется художник. Таким образом, в Гоголе видим мы существо двойное, или раздвоившееся; поэзия его не цельная, не единичная, а двойная, распадшаяся. Как этот разрыв в нем примиряется и доходит до полного согласия — мы увидим ниже.

Яркий смех Поэта, переливаясь через глубокую думу и печаль, превращается в нем так часто в возвышенные лирические движения: тот же самый человек, который теперь только перед вами так беззаботно смеялся и смешил вас, является вдохновенным прорицателем, с торжественною думою на важном челе своем. Эта способность так легко переходить от хохота ко всем оттенкам чувства до самых высоких лирических восторгов показывает, что смех Поэта проистекает в нем не от холодного рассудка, который все отрицает и потому над всем смеется, но от глубины чувства, которое в самой природе человеческой двоятся на веселье и горе. Вот чем юмористический хохот Гоголя отличен от того пустого пересмешничества (*persiflage*), которое часто встречается во французской литературе и ведет свое начало от Вольтера. Пересмешник издевается рассудком, а не чувством смеется, хохот первого утомляет под конец своею пустотою, тогда как хохот второго часто заставляет задумываться...

Подкрепим наше мнение о характере юмора Гоголева его собственными словами, в которых он так верно и сильно высказывает нам самого себя и открывает тайны души своей. Редко случается встретить в Поэте сознание своего характера и искусства: Гоголь принадлежит к числу сих немногих исключений. Разбором характера Хлестакова в «Ревизоре» он доказал, как отчетливо понимает свои создания. «Мертвые души» исполнены также глубокомысленных замет о состоянии души Поэта и о том, как он сам смотрит на свои произведения. В первой статье мы уже привели одно из таких мест: теперь снова повторим его кстати и прочтем еще далее.

Стран<ица> 107<sup>3</sup>: «...Но то на свете дивно устроено: веселое мигом обратится в печальное, если только долго застоишься перед ним, и тогда Бог знает, что взбредет в голову». — И далее стран<ица> 108: «Зачем же среди недумаящих веселых, беспечных минут сама собою вдруг пронесется иная чудная струя: еще смех не успел совершенно сбежать с лица, а уже стал другим среди тех же людей и уже другим светом осветилось лицо...» В этих словах не то же ли самое, что мы выше сказали?

Но вот еще место, в котором гораздо яснее высказана та же мысль в отношении к самому Поэту (стран<ица> 258): «И долго еще определено мне чудной властью идти об руку с моими странными героями, озирать всю громадно-несущуюся жизнь, *озирать ее сквозь видный миру смех и незримые, неведомые ему слезы!*». Слова драгоценные, глубокие, поднятые с самого дна души и сказавшиеся в одну из тех редких светлых минут, когда поэт и человек бывают ясны самому себе!

Сии-то незримые, неведомые миру слезы проглядывают очень часто в Поэме Гоголя; для того, кто хочет взглядеться глубже, они очень заметны сквозь игривый звон комического смеха, и мы несколько раз испытали на самих себе переход от шумного веселья к грустной задумчивости. Подкрепим это свидетельствами из самого произведения. Главный мотив, на котором держится все комическое действие Поэмы, продажа мертвых душ, с первого раза кажется только забавен и в самом деле так искусно найден комической фантазией художника: тут нет ничего никому обидного, ни вредного — что такое мертвые души? — так, ничего, не существуют, а между тем из-за них-то поднялась такая тревога. Здесь источник всем комическим сценам между Чичиковым и помещиками и кутерьме, какая заварилась во всем городе. Мотив с виду только что забавный — клад для комика; — но когда вы прислушаетесь к сделкам Чичикова с помещиками, когда потом вместе с ним (в VII главе Поэмы), или лучше с Автором, который здесь напрасно уступил место своему герою, вы раздумаетесь над участию всех этих неизвестных существ, внезапно оживающих перед вами в разных типах русского мужика, — глубокая ирония выглянет в мотиве, и невольною Думою осенится ваше светлое чело.

Взгляните на расстановку характеров: даром ли они выведены в такой перспективе? Сначала вы смеетесь над Маниловым, смеетесь над Коробочкою, несколько серьезнее взглянете на Ноздрева

и Собакевича, но, увидев Плюшкина, вы уже вовсе задумаетесь: вам будет грустно при виде этой развалины человека.

А герой Поэмы? Много смешит он вас, отважно двигая вперед свой странный замысел и заводя всю эту кутерьму между помещиками и в городе; но когда вы прочли всю историю его жизни и воспитания, когда Поэт разоблачил перед вами всю внутренность человека, — не правда ли, что вы глубоко задумались?

Наконец, представим себе весь город N. Здесь, кажется, уж донельзя разыгрался комический юмор Поэта, как будто к концу тома сосредоточив все свои силы. Толки жителей о душах Чичикова и их нравственности, бал у губернатора, появление Ноздрева, проезд Коробочки, сцена двух дам, слухи в городе о мертвых душах, о похищении губернаторской дочки, вздор, тревога, кутерьма, сутолока, весть о новом генерал-губернаторе и съезд у полицмейстера, на котором рассказывается повесть о капитане Копейкине!.. Как не изумиться тому, с какою постепенностью растет комическое действие и как непрерывно прибывают новые волны в смешливом юморе Автора, которому здесь просторное раздолье. Как будто сам демон путаницы и глупости носится над всем городом и всех сливает в одно: здесь, говоря словами Жан-Поля, не один какой-нибудь дурак, не одна какая-нибудь отдельная глупость, но целый мир бессмыслицы, воплощенный в полную городскую массу<sup>4</sup>. В другой раз Гоголь выводит нам такой фантастический русский город: он уж сделал это в «Ревизоре»; здесь также мы почти не видим отдельно ни городничего, ни почтмейстера, ни попечителя богоугодных заведений, ни Бобчинского, ни Добчинского; здесь также целый город слит в одно лицо, которого все эти господа только разные члены: одна и та же уездная бессмыслица, вызванная комическою фантазиею, одушевляет всех, носится над ними и внушает им поступки и слова, одно смешнее другого. Такая же бессмыслица, возведенная только на степень губернской, олицетворяется и действует в городе N. Нельзя не удивиться разнообразию в таланте Гоголя, который в другой раз вывел ту же идею, но не повторился в формах и ни одною чертою не напомнил о городе своего Ревизора! При этом способе изображать комически официальную жизнь внутренней России надобно заметить художественный инстинкт Поэта: все злоупотребления, все странные обычаи, все предрассудки облекает он одною сетью легкой смешливой иронии. Так и должно быть — Поэзия не донос, не грозное обвинение. У нее возможны одни только краски на это: краски смешного.

Но и тут даже, где смешное достигло своих крайних пределов, где Автор, увлеченный своим юмором, отрешил местами фантазию от существенной жизни и нарушил тем, как мы скажем после, ее характер, — и здесь смех при конце сменяется задумчивостью, когда среди этой праздной суматохи внезапно умирает прокурор и всю тревогу заключают похороны. Невольно опять припоминаются слова Автора о том, как в жизни веселое мигом обращается в печальное...

Вся Поэма усеяна множеством кратких эпизодов, ярких замет, глубоких взглядов в существенную сторону жизни, из которых видна внутренняя склонность к сердечной задумчивости и к важному созерцанию жизни человеческой вообще и русской в особенности.

Чтобы завершить этот ряд сильных примеров, служащих подтверждением нашему воззрению на юмор Гоголя, мы выпишем из его Поэмы одну страницу, в которой с удивительною полнотою высказывается все течение чувства в самом Поэте и как будто в миниатюре отражается характер всей его Поэмы не только той половиною, которую мы теперь читаем, но и будущую, которую автор нам обещает. Это описание русской дороги (на стран<ица> 424):

...И опять по обеим сторонам столбового пути пошли вновь писать версты, станционные смотрители, колодцы, обозы, серые деревни с самоварами, бабами и бойким бородатым хозяином, бегущим из постоянного двора с овсом в руке, пешеход в протертых лаптях, плетущийся за 800 верст, городишки, выстроенные живьем, с деревянными лавчонками, мучными бочками, лаптями, калачами и прочей мелюзгой, рябые шлагбаумы, чинимые мосты, поля неоглядные и по ту сторону и по другую, помещицы рыдваны, солдат верхом на лошади, везущий зеленый ящик с свинцовым горохом и подписью: такой-то артиллерийской батарее, зеленые, желтые и свежо-разрытые черные полосы, мелькающие по степям, зятанутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон, вороны как мухи и горизонт без конца Русь! Русь! вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека, тебя вижу: бедна природа в тебе, не развеселят, не испугают взоров дерзкие ее дива, венчаные дерзкими дивами искусства, города с многооконными, высокими дворцами, вросшими в утесы, картинные деревья и плющи, вросшие в дома, в шуме и в вечной пыли водопадов; не опрокинется назад голова посмотреть на громоздящиеся без конца над нею и в вышине каменные глыбы; не блеснут сквозь брошенные

одна на другую темные арки, опутанные виноградными сучьями, плющами и несметными миллионами диких роз, не блеснут сквозь них вдаль вечные линии сияющих гор, несущихся в серебряные ясные небеса. Открыто-пустынно и ровно все в тебе; как точки как значки, неприметно торчат среди равнин невысокие твои города; ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая, тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей, от моря до моря, песня? Что в ней, в этой песне? Что зовет, и рыдает и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь! чего же ты хочешь от меня? какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем все, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?.. И еще, полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? здесь ли, в тебе ли не родиться беспредельной мысли, когда ты сама без конца? здесь ли не быть богатырью, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? и грозно объемлет меня могучее пространство, страшно силою отразь во глубине моей; неестественной властью осветились мои очи: у! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь!..

Проследите внимательно мысль эти две страницы, с которых с такою полнотою вылилось чувство Автора: вы заметите, что сначала комический юмор подсказывал ему только низкие предметы русской дороги, версты, обозы, серые деревни с самоварами, баб, бородачей, городишки с лавчонками, лаптями и калачами... Фантазия его, увлеченная в одну сторону, не заметила ни раздолья наших нив, несущих гибкие волны бесконечной и разнообразной жатвы; ни пустых мест, брошенных пахарем от избытка земли; ни особенностей нашей природы, роскошной зелени, бессменно покрывающей луга все круглое лето, болот и полян, расписанных сплошь то лиловым, то синим, то желтым цветом; плотного дуба, рябины, убранной коралловыми кудрями; ни наших рек, которые внезапно застилают скачущему широкую дорогу; ни физиогномии русского мужика, ни его яркой красной рубашки, ни белокурых мальчишек, прыгающих по улицам; ни древних городов, высоко поднимающихся над крутыми берегами полноводных рек своих; ни вереницы молельщиков, которые бог знает из каких стран плетутся многие тысячи верст по нескончаемой Руси, питаются молитвою и подаянием; ни Божьих храмов, которые с разных

точек небосклона как будто молитвенным хором обнимают вас, подъямлясь в небеса, и одни только, ярко расписанные и венчанные золотыми крестами, величаются и красуются над низменными жилищами, где влачит незаметную жизнь свою в поте лица снедающий хлеб свой и кормящий им всю Россию русский крестьянин... Комический юмор не мог заметить этого... К тому же пышная Италия дивами своего искусства и природы затмила все, что и могло бы на однообразной дороге русской сказаться сердцу Поэта...<sup>5</sup> Но при имени Русь, — сильно издали зазвучала ему родная песня... И крепко забилося сердце, и мигом смех сбегал с лица, и из очей выступили слезы, и каким-то непонятым желанием вся душа повлеклась в родимую даль, а затем высокие лирические движения стеснили грудь и вылились из нее полнозвучными, возторженными, вещими словами!

То, что видим в этом отрывке, что заметили мы прежде в главном мотиве Поэмы, в расстановке характеров, в герое, в изображении города, то самое не будет ли видно и во всем произведении?.. Да, да, так должно быть, судя по духу самого Поэта, так ярко воплотившемуся в его создании... Так говорит и предсказывает он сам в разных местах Поэмы, особенно же в ее заключении: «Может быть, в сей же самой повести почувются иные, еще доселе небранные струны, предстанет несметное богатство русского духа, пройдет муж, одаренный божественными доблестями, или чудная русская девица, какой не сыскать нигде в мире, со всей дивной красотой женской души, вся из великодушного стремления и самоотвержения. И мертвыми покажутся перед ними все добродетельные люди других племен, как мертва книга перед живым словом! Подымутся русские движения... и увидят, как глубоко заронилось в славянскую природу то, что скользнуло только по природе других народов...» Или далее: «Въезд в какой бы ни было город, хошь даже в столицу, всегда как-то бледен; сначала все серо и однообразно: тянутся бесконечные заводы да фабрики, закопченные дымом, а потом уже выглянут углы шестиэтажных домов, магазины, вывески, громадные перспективы улиц, все в колокольнях, колоннах, статуях, башнях, с городским блеском, шумом и громом и всем, что на диво произвела рука и мысль человека. Как произвелись первые покупки, читатель уже видел; как пойдет дело далее, какие будут удачи и неудачи герою, как придется разрешить и преодолеть ему более трудные препятствия, как предстанут колоссальные образы, как двинутся сокровенные



рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и *вся она примет величавое лирическое течение, то увидит потом*».

Если бы даже Автор этими ясными словами сам не отворил нам дверей в будущее своей повести, то мы, по требованиям изящного, по силе и полноте его дарования, объемлющего все стороны жизни, и по характеру его юмора, могли бы заранее отгадать то, что нам вперед обещано. Много, много смеялись мы в первом томе: трудно загадывать в таком деле, но должно быть, что веселое *обратится в печальное* и что будем мы плакать в последующих.

Так чувство наше раздвоится на две половины, которые дополняют друг друга и примирятся, может быть, под конец в светлой, успокоительной, возвышенной, всевосприемлющей фантазии Поэта.

Когда говоришь о Гоголе и находишься под непрерывным влиянием его произведения, — невольно приходят на мысль поэтические образы — и холодный язык критика превращается в язык поэта. Потому да не покажется читателям странным, если мы употребим сравнение для того, чтобы яснее изобразить развитие внутреннего чувства и фантазии во всей его Поэме. Взгляните на вихорь перед началом бури: легко и низко проносится он сперва, взметает пыль и всякую дрянь с земли; перья, листья, лоскутки летят вверх и вьются; — и скоро весь воздух наполняется его своенравным кружением... Легок и незначителен кажется он сначала, но в этом вихре скрываются слезы природы и страшная буря. Таков точно и комический юмор Гоголя... Но вот налетели тучи... Сверкнула молния... Гром раскатился по небу... Дождь хлынул потоками. Земля и небо смешались вместе... Не такова ли будет вторая часть его Поэмы, в которой обещает он нам *лирическое течение, горизонт раздающийся и величавый гром других речей?*

Но мы знаем, что над этим вихрем, над этими молниями, громами и тучами, в которых небо борется с землею и очищает ее, — высоко, высоко распростерто ясное, невозмущаемое, лазурное небо с своим неизменным солнцем: не так ли над юмором Поэта, в котором свободный дух его разделяется с существенностью действительной жизни, носится мир его светлой фантазии, где примиряются его чувства, волнующие жизнь в две противные стороны, и где человек со своим смехом и слезами успокаивается и преображается в одного цельного художника?

Объяснив сначала значение действительной жизни в первой части Поэмы Гоголя и показав, каким образом она связуется с миром искусства, мы перейдем теперь в чистый элемент худо-

жественный, в область его фантазии, и предложим ее характеристику. Талант Гоголя был бы весьма односторонен, если бы ограничивался одним комическим юмором, если бы обнимал только одну низкую сферу действительной жизни, если бы личное (субъективное) чувство его не переливалось из яркого хохота в высокую бурю восторженной страсти и если бы потом обе половины чувства не мирились в его светлой, творящей, многообъемлющей фантазии. Вспомним, что одно и то же перо изобразило нам ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, Старосветских помещиков и Тараса Бульбу. Художественный талант Гоголя совершил такие замечательные переходы, когда жил и действовал в сфере своей родной Малороссии. По всем данным и по всем вероятностям должно предполагать, что те же самые переходы совершит он и в новой огромной сфере своей деятельности, в жизни русской, куда теперь, как видно, переселилась его фантазия. Если «Ревизор» и первая часть «Мертвых душ» соответствуют Шпоньке и знаменитой ссоре двух малороссов, то мы вправе ожидать еще высоких созданий вроде «Тараса Бульбы», взятых уже из русского мира.

Но и теперь, когда все воссоздаваемое Гоголем из этого мира носит на себе резкую печать его комического юмора, — и теперь замечаем мы в нем присутствие светлой творческой фантазии, которая предводит согласным хором его способностей, возвышается над всеми субъективными чувствами и готова бы была совершенно перенестись в чистый идеальный мир искусства, если бы слишком низкие предметы земной жизни не сковывали ее могучих крыльев и если бы комический юмор не препятствовал ее свободному, полному и спокойному созерцанию жизни. Постараемся теперь обозначить черты ее и короче ознакомиться с физиогномиею Поэта, ярко отразившеюся в новом его произведении.

Первая черта фантазии Гоголя есть живое *ясновидение* мира, им переносимого из бытия существенного в бытие идеальное искусства. По всем правам и в высшем смысле фантазия Гоголя может быть названа ясновидящею, потому что в каждом предмете, ею воспроизводимом, она видит ясно и внешнюю и внутреннюю его сторону и взаимное их между собою отношение. Без особенного призвания, без дара Божия, Гоголь не мог бы развить в себе этой способности, которая не приобретается никаким навыком; но нельзя не заметить, что два славные учителя воспитали ее: Италия своею поэзиею, живописью и природою раскрыла в фантазии

Гоголя всю внешнюю ее сторону; Шекспир и В. Скотт раскрыли внутреннюю и довершили развитие.

Какой читатель мог не заметить в «Мертвых душах» всей богатой живописи внешнего мира, в теплых картинах русской природы, в изображениях всех мелочей городского и сельского быта, в наружной физиогномии всех действующих лиц, из которых каждое со всеми его движениями видишь перед собою, и, наконец, в этих сравнениях, ярких, пластических, всегда округленных и с художественною заботливостию доведенных до конца? Много бы надо было выписывать из Поэмы, если бы мы захотели знакомить с нею читателей в этом отношении; но предполагаем, что многие из них уже почти наизусть с нею знакомы и что в их воображении живо напечатлены картины, начертанные кистью Гоголя. Все, к чему во внешнем мире ни прикасается его волшебная фантазия, все то оживает чудно, светится своею краскою и сквозит в его ярком, верном, полном и широком слове.

Мы видели эту сторону фантазии Гоголя еще в «Вечерах Диканьки», в «Старосветских помещиках» и в «Тарасе Бульбе». Кто не помнит малороссийской степи и плодового сада? Но надобно сказать, что в «Мертвых душах» эта сторона выступает еще ярче. Здесь только близорукий не заметит, что небо Италии, прозрачный ее воздух, ясность каждого оттенка и каждого очерка в предмете, картинные галереи, мастерские художников, частое обращение с ними, наконец, поэзия Италии воспитали в Гоголе фантазию тою стороною, которою обращена она ко всему внешнему миру, и дали ей такое живописное направление, такую полноту и окончанность.

Говоря об этом, нельзя не обратить внимание на симпатию Гоголя к Италии, на душевное влечение его к стране изящного. Откуда объяснить это? Из того только, что он истинный художник, что искусство — его призвание. В самом деле, Гоголь у нас единственный писатель, который остается верен своему назначению, не отвлекается ничем посторонним, твердо и постоянно служит искусству и живет только для него одного. Благородное, прекрасное, достойное служение! Слава ему, что он не променял его ни на какое иное! Если так, то какая же другая сфера могла удовлетворить ему, кроме Италии, где все дышит миром, близким душе его, и в самой Италии какой город мог он избрать, если не Рим, где минувшее величие, природа и искусство сочетались в одно и образовали для всякого современного художника чуд-

ный приют, волшебное окружение? Здесь, *из своего прекрасного далека*, благодаря прозрачному небу полудня, яснее и полнее созерцает он Россию, — и в то время как в снах фантазии являются ему кошмары с фигурами Собакевичей и Ноздревых, необходимо, чтобы взоры его отдыхали на стройных очертаниях Колоссея и храма Петра, на картинах Перуджино и Рафаэля, на воздушных горных линиях и на чудной лазури небес итальянских! Таков художник истинный! Да будет же светло его пребывание там, и чаще, как можно чаще, да сходят на него минуты вдохновения!

Яркий отпечаток природы, живописи и поэзии изящного Полудня Европы лежит на колорите «Мертвых душ» и на всем, что составляет внешнюю сторону изображаемого в них мира. При этом замечании прошу читателей не смешать содержания с искусством: содержание, разумеется, дано Россиею, и Поэт всегда ему верен, но ясновидение и сила фантазии, с какими воссоздаст он далекий мир отчизны, воспитаны в Гоголе итальянским окружением. В одном месте видно даже, что Италия невольно бросила несколько жарких красок на самое содержание картины, а именно — в описании сада Плюшкина, где зеленые облака и трепетolistные куполы дерев, лежащих на небесном горизонте, напоминают ландшафты юга.

Говоря об этой полуденной стихии в Поэме Гоголя, как забыть чудные сравнения, встречающиеся нередко в «Мертвых душах»! Их полную художественную красоту может постигнуть только тот, кто изучал сравнения Гомера и итальянских эпиков, Ариоста и особенно Данта, который, один из поэтов нового мира, постиг всю простоту сравнения гомерического и возвратил ему круглую полноту и окончанность, в каких оно являлось в эпосе греческом. Гоголь в этом отношении пошел по следам своих великих учителей. Сравнение образует у него по большей части отдельную полную картинку, которою он увлекается как эпик и которую искусно вставляет в целое Поэмы, не нарушая нисколько единства и не прерывая нити рассказа. Много таких сравнений у Гоголя, но мы особенно приведем одно, которое полнотою и простотою образа напоминает сравнения Гомеровы.

«Черные фраки мелькали и носились врознь и кучами там и там, как носятся мухи на белом сияющем рафинаде в пору жаркого июльского лета, когда старая ключница рубит и делит его на сверкающие обломки перед открытым окном; дети все глядят,

собравшись вокруг, следя любопытно за движениями жестких\* рук ее, подымающих молот, а воздушные эскадроны мух, поднятые легким воздухом, влетают смело, как полные хозяева, и, пользуясь подслеповатостью старухи и солнцем, беспокоящим глаза ее, обсыпают лакомые куски, где вразбитную, где густыми кучами. Насыщенные богатым летом, и без того на всяком шагу расставляющим лакомые блюда, они влетели вовсе не с тем, чтобы есть, но чтобы только показать себя, пройтись взад и вперед по сахарной куче, потереть одна о другую задние или передние ножки, или почесать ими у себя под крылышками, или, протянувши обе передние лапки, потереть ими у себя над головою, повернуться и опять улететь и опять прилететь с новыми докучными эскадронами».

Всмотритесь в этих мух: как они грациозны и как тонко заметил Поэт все их маленькие движения! Приведем несколько подобных сравнений из Гомера<sup>7</sup>:

«...Сбегались народы: так точно племена пчел густыми роями вылетают все больше и больше из скалы глубокой и в виде гроздий несутся на весенние цветы; одни летят в одну, другие в другую сторону... Так высыпал народ из кораблей и шатров...» (Песнь I, ст. 86–91). «Как осел, забравшись в ниву, спорит с детьми упрямый: много палок об него они изломали, а он забрался и жрет себе глубокую пашню; мальчишки бьют его палками, но глупа еще их сила, — и тогда только с трудом выгоняют его, когда он насытился нивой: так Аякса великого изгоняли трояне» (П. XI, ст. 557–562). «Воины быстро высыпали вперед, подобно осам придорожным, которых дразнят по обычаю мальчишки, всегда тревожа их в жилищах, на пути стоящих; неосмысленные навле-

---

\* При этом слове нельзя не вспомнить без негодования проделки одного петербургского журнала, который искажает текст Гоголевой Поэмы и бранит потом свое же искажение. Прочтите в литературной летописи «Библиотеки для чтения» 29 страницу. Издатель напечатал: за движениями женских рук ее (ключницы), вместо жестких, и прибавляет в скобках: то есть старой ключницы, у которой, вероятно, других рук и не было, кроме женских... Право, не веришь глазам своим, до какой степени может дойти недобросовестность критика, ослепленного какою-то странною злобою на талант... Давно уж ни одна статья не возбуждала в нас такого жалкого отвращения, как весь этот разбор «Мертвых душ», где все произведение Гоголя умышленно искажено в тексте и содержании<sup>6</sup>. Мы это докажем и считаем обязанностью выставить на глаза публики все неприличие такого действия С. Ш.

кают общее зло на многих, и чуть какой-нибудь путник, идучи по дороге, тронул их не нарочно, все с бесстрашным сердцем высыпают они вон на защиту детей своих. Так мирмидоняне...» (П. XVI, ст. 257–266). «Они толпились около мертвого, как мухи в хлеву жужжат вокруг подойников, переполненных молоком, в весеннюю пору, когда оно льется через край в сосуды...» (П. XVI, ст. 641–643).

Вот сравнения из Данта: «Как овечки выходят из затвора по одной, по две, по три, а другие стоят робкенькие (*timidette*), опустив к земле глаза и рыльцо, и что делает первая, за нею делают и другие, прислоняясь к ней сзади, если она остановится, просты и тихи, а почему так делают, не знают... Так двигались души...» (Чист. П. 3). «Подобно тому как слетаются на ниву голуби и клюют ячмень или просо, тихие, без обычного своего воркованья, а если что-нибудь вдруг их испугает, внезапно покидают они свою приравну, потому что постигла их важнейшая забота, так и эта свежая толпа оставляла берег...»

Приемы славных учителей видны очень в сравнениях Гоголя. Мы припомним лучшие: сравнение Манилова с котом, у которого пощекотали за ушами пальцем (стран<ица> 48), овального лица с прозрачным яичком (171), радостного чувства среди печалей с блестящим экипажем, который проносится по бедной деревушке (175), глаз Плюшкина с мышами (223), внимания нетерпеливой дамы с русским барином-охотником, ожидающим зайца (356), городских дам с ученым, пускающим в свет смелую гипотезу (363), жителей города со школьником, которому товарищи засунули в нос гусара (364). Нельзя не привести, однако, целиком чудной картины лающих собак и сравнения их с хором певчих:

«Между тем псы заливались всеми возможными голосами: один, забросивши вверх голову, выводил так протяжно и с таким старанием, как будто за это получал Бог знает какое жалованье; другой отхватывал наскоро; промеж них звенел, как почтовый звонок, неугомонный дишкант, вероятно, молодого щенка, и все это наконец повершал бас, может быть, старик, наделенный дюжею собачьей натурой, потому что хрипел, как хрипит певческий контрабас, когда концерт в полном разливе, тенора поднимаются на цыпочки от сильного желания вывести высокую ноту и все что ни есть порывается кверху, закидывая голову, а он один, засунувши небритый подбородок в галстух, присев и опустившись почти до земли, пропускает оттуда свою ношу, от которой трясутся и дребезжат стекла».

Мы не приводим множества других маленьких сравнений, коими усеяно произведение, вспомним эти дороги, которые расползаются во все стороны, как раки, выброшенные из кулька, — или у Плюшкина в доме люстру, которая в мешке своем похожа на червяка, заключенного в кокон. Все, к чему ни прикасается волшебная кисть Гоголя, все живет в его ярком слове, и каждый предмет сквозит из него и выдается своим видом и цветом. И это свойство своей фантазии русский Поэт мог возвести на такую степень искусства только там, где творил Дант, где Ариост дружил с Рафаэлем и в его мастерской, созерцая бессмертную кисть, переносил живые ее краски в италийское жаркое слово. Кто не понимает сочувствия Гоголя к Италии, тот не поймет и всей красоты в пластическом внешнем элементе его фантазии.

Но предметы внешней природы получают у Гоголя еще другую, особенную жизнь, потому что тесно сопрягаются с человеком, приводятся не только для самих себя, не для эпического описания, а чаще для того, чтобы рисовать нам нас же самих, служить символом отдельного характера, лица или целого народа, чтобы выражать свою внутреннюю жизнь и действия человека. Припомните все деревни помещиков, курятник Коробочки, мебель и обед Собакевича, дом или, лучше, кладовую Плюшкина, псарню Ноздрева, лошадей Селифана... Здесь во всяком мертвом, бездушном предмете живет сам человек, отражается его личное свойство и характер. Поэт рассказывает нам (стран<ица> 211–213), как еще с детства раскрылось в нем это покорное наблюдение предметов, как в городах и деревнях *ничто не ускользало от его свежего, тонкого внимания*; как следил он движения, высматривал одежду и всю наружность людей, проходивших мимо его, и *уносился мысленно за ними в бедную жизнь их*; как, смотря на дома и сады помещиков, старался угадать, кто таков сам помещик... Все запасы этих впечатлений отдаленного детства пошли впрок, как видно, и послужили материалом для его поэзии.

Мы объяснили внешнюю сторону ясновидящей фантазии Поэта, показали ее воспитание и отношение к стороне внутренней, перейдем теперь к сей последней. Под именем ее мы разумеем ясное созерцание всего внутреннего человека в различных его видах. В этом отношении Гоголь является достойным учеником поэзии севера, и особенно Шекспира и В. Скотта. Здесь первое место занимает создание характеров цельных. Гоголь способен видеть ясно каждое лицо, им создаваемое, и проследить его во всех возможных

положениях жизни, во всех изгибах и движениях как души, так и тела. Здесь-то особенно проявляется сила творческая в Поэте.

В характерах, создаваемых Гоголем, должно заметить, что это не какие-нибудь частные случаи, не отдельные явления, подмеченные умом наблюдательным, — нет, художник возводит каждый из них на степень общего типа и сам на то намекает. Припомним то, что говорит он о Ноздре и Собакевиче. В самом деле, сжавшуюся в самой себе крепкую натуру Собакевича, этого человека-кулака, найдете вы во многих людях по частям и в разных слоях общества, восходя до самых высших. Некоторые брезговали этим лицом, особенно видя его за няней и после обеда странно! — брезгают в Поэме, а как будто не беспрерывно видят около себя, как будто не часто обедают с Собакевичами, которые объедаются не няни, не индюка, не ватрушек, а громадных котлет с трюфелями, чванятся образованием, потому что говорят по-французски, а нравственно еще гаже Собакевича. Знаете ли, что Собакевичи есть даже и в литературе?<sup>8</sup> Вот, например, все те писатели, которые смотрят на словесность как на легчайшее средство к добыванию денег, все литераторы-кулаки, которые обо всем даровитом в литературе выражаются точно так же, как Собакевич о губернаторе и прочих чиновниках, а в своей критике беспрерывно разыгрывают в действии известную басню Крылова<sup>9</sup>, — все эти молодцы разве не те же Собакевичи, взятые нумером с виду повыше? А потрудитесь, сличите-ка с подлинником текст из книг, приводимый ими со вносными знаками, как будто они ни в чем не виноваты, — вы нападете не на одного Елисавету Воробья, которого умеют они ввертывать искусно для своих собственных скрытых целей! А Манилов? О, Маниловых много и в столицах: этого народу досужих мечтателей не обещать у нас в России, к сожалению; люди с виду пустые, а если приглядеться пристальнее, так очень вредные своим бездействием. А Коробочка? Коробочек пропасть по всей Москве, во всех закоулках нашей необозримой столицы; они ходят толпами по рынкам, только более покупают, чем продают. А Ноздрев? От взбалмошных Ноздревых также у нас тесно. И они, вместе с Собакевичами, втерлись в литературу. Этот писака, который вчера посылал к вам учтивые, коленопреклоненные письма, печатно хвалил вас, а теперь печатно же ругает без причины; или, выбежав из-под своей подворотни, лает без умолку на всех проходящих, как будто получал за это Бог знает какое жалованье; или вдруг



разругает все возможные славы мира, славы Италии, Франции и России, и преклонится перед кем-нибудь, не просящим похвал его, и закричит ему во все горло: да ты выше Шекспира! — вроде того, как Ноздрев уверяет Чичикова, что он для него лучше отца родного; или, наконец, наглое самохвальство и хвастовство свое доводит до какого-то усовершенствованного ремесла: скажите, такой писака-дрянь не тот же ли Ноздрев, принявшийся за перо и словесность Бог знает каким случаем? Он едва ли не хуже его, потому что Ноздрев ругает и хвалит, лает и лижет, лжет и хвастает по одному инстинкту, а писака-дрянь то же делает при совершенном сознании своих действий. Да уж полно, нет ли и чичиковского подвига в нашей литературе? Вот, например, собрать подписку на книгу<sup>10</sup>, которая существовала только в воображении сочинителя, точно так же как мертвые души, купленные Чичиковым... разве не то же?.. Ну да, впрочем, довольно и этого...

Велик талант Гоголя в создании характеров, но мы искренно выскажем и тот недостаток, который замечаем в отношении к полноте их изображения или произведения в действие. Комический юмор, под условием коего Поэт созерцает все эти лица, и комизм самого события, куда они замешаны, препятствует тому, чтобы они предстали всеми своими сторонами и раскрыли всю полноту жизни в своих действиях. Мы догадываемся, что кроме свойств, в них теперь видимых, должны быть еще другие добрые черты, которые раскрылись бы при иных обстоятельствах: так, например, Манилов, при всей своей пустой мечтательности, должен быть весьма добрым человеком, милостивым и кротким господином с своими людьми и честным в житейском отношении; Коробочка с виду только крохоборка и погружена в одни материальные интересы своего хозяйства, но она непременно будет набожна и милостива к нищим; в Ноздреве и Собакевиче трудно приискать что-нибудь доброе, но все-таки должны же быть и в них какие-нибудь движения более человеческие. В Плюшкине, особенно прежнем, раскрыта глубже и полнее эта общая человеческая сторона, потому что Поэт взглянул на этот характер гораздо важнее и строже. Здесь на время как будто покинул его комический демон иронии, и фантазия получила более простора и свободы, чтобы осмотреть лицо со всех сторон. Так же поступил он и с Чичиковым, когда раскрыл его воспитание и всю биографию.

Комический демон шутки иногда увлекает до того фантазию Поэта, что характеры выходят из границ своей истины, правда,

что это бывает очень редко. Так, например, неестественно нам кажется, чтобы Собакевич, человек положительный и солидный, стал выхвалять свои мертвые души и пустился в такую фантазию<sup>11</sup>. Скорее мог бы ею увлечься Ноздрев, если бы с ним сладилось такое дело. Оно чрезвычайно смешно, если хотите, и мы от души хохотали всему ораторскому пафосу Собакевича, но в отношении к истине и отчетливости фантазии нам кажется это неверно. Даже самое красноречие, этот дар слова, который он внезапно по какому-то особливому наитию обнаружил в своем панегирике каретнику Михееву, плотнику Пробке и другим мертвым душам, кажутся противны его обыкновенному слову, которое кратко и все рубит топором, как его самого обрубил природа. Нарушение одной истины повлекло за собою нарушение и другой. Автор сам это чувствовал и оговорился словами: «откуда взялись рысь и дар слова в Собакевиче» (страница 194). То же самое можно заметить и об Чичикове: в главе VII прекрасны его думы обо всех мертвых душах, им купленных, но напрасно приписаны они самому Чичикову, которому, как человеку положительному, едва ли могли бы прийти в голову такие чудные поэтические были о Степане Пробке, о Максиме Телятникове, сапожнике, и особенно о грамотее Попове беспашпортном, да об Фырове Абакуме, гуляющем с бурлаками... Мы не понимаем, почему все эти размышления Поэт не предложил от себя. Неестественно также нам показалось, чтобы Чичиков уж до того напился пьян, что Селифану велел сделать всем мертвым душам лично поголовную перекличку. Чичиков — человек солидный и едва ли напьется до того, чтобы впасть в подобное мечтание.

То, что сказали мы о характерах, должно повторить и о воссоздании всей русской жизни в Поэме Гоголя. Его фантазия с чудною ясностью созерцает всю невидимую для простого ока ткань ее, со всеми запутанными нитями и узлами. Чем более вглядываемся в подробности изображения, тем более удивляемся тому, как они мастерски прилажены к целому и между собою, и убеждаемся, что достигнуть этого можно только цельным творческим ясновидением жизни, а не искусственно какою-нибудь механикою, которая, как бы ни слаживала, уж не сладит так, не подделается под жизнь, как сама фантазия, самовластно управляющая всеми способностями Поэта, приносящими ей дары свои, плоды опытов, наблюдений, и все орудия на готовое служение. В изложении содержания мы уж на то намекали; здесь

приведем некоторые мелкие подробности, служащие, однако, тайными нитями в ткани всего действия повести. Как верно то, что кучер Селифан напился пьян в гостях у дворни Манилова! От Коробочки выезжает он совершенно другим кучером: тут уж заметны в нем порядок и старание. От Ноздрева выехал он в дурном расположении духа и таким же взбалмошным, как и сам хозяин, у которого они с барином гостили: вот почему в первый раз спьяну он сбился с дороги и опрокинул бричку; во второй — ехал очень порядочно; в третий без толку наскочил на экипаж совершенно по-ноздревски. Все это кажется мелочами с первого раза, а оно чрезвычайно важно в общей ткани событий, из которых слагается канва действия. Проследите все выходы Ноздрева: они вытекут из его характера. С ним нельзя было никак сладить дела, он один мог всполошить город на бале у губернатора и разорить все предприятие Чичикова; он же потом своим визитом и откровенностью мог надушить его на скорый отъезд. А Коробочка не так же ли везде верна самой себе? — кто же другой мог бы так поспешно прискакать в город и ударить тревогу? — не из тучи гром, а всегда так на свете бывает. Коробочки очень важны и значительны в подобных предприятиях.

Но и здесь будет та же самая оговорка со стороны нашей, что комический юмор автора мешает иногда ему обхватывать жизнь во всей ее полноте и широком объеме. Это особенно ясно в тех ярких заметках о русском быте и русском человеке, которыми усеяна Поэма. По большей части мы видим в них одну отрицательную, смешную сторону, пол-обхвата, а не весь обхват русского мира. Всякая глупость и бессмыслица ложится ярко под меткую кисть Поэта-юмориста. Кучер Селифан похвалился, что не опрокинет, и тотчас же опрокинул. Девчонка умеет показать дорогу, а не знает, что право и что лево. Дядя Миняй и дядя Митяй хлопотали, хлопотали около брички и коляски и, бестолковые, ровно ничего не сделали, но только что лошадей измучили. Здесь, с одной стороны, видна добрая черта русского народа — его радушие, бескорыстная готовность помочь ближнему в беде, что не всегда найдете вы в образованном западе; но, с другой стороны, жаль, что все это радушие примыкает к бестолковщине, которая очень смешна, но не полна: ибо вообще-то говоря, уж конечно, не бестолков русский мужик и в деле, требующем здравого смысла, за пояс заткнет любого ученого иностранца. Правда, живет и на него беда, как на Селифана, прихвостнет и опрокинет спья-

ну, но часто бывает и так, что проскачет черт знает где, выедет просто на авось по соломенному мосту, и уж пока держит вожжи в руках, конечно, не усумнится, как иной немец, в том, что справит лошадей, и не даст выпрыгнуть из коляски своему барину. Вот еще и такого кучера представьте нам. Бывают и такие беды с мужичками русскими, как были с дядею Митяем и Миняем, что работают, работают, и прогонят их прочь, не сказавши им доброго слова; но ведь коль в сумме-то взять, так в дороге случилась беда, кто же лучше поможет против нашего мужика, кто смышленее его и расторопнее? И как ему в том и несмышлену быть, когда, кроме природы, которая наделила его здравым смыслом, помогла ему и сама дорога своим горьким опытом, своими ухабами, канавами, рытвинами, грязью коню по брюхо, театральными мостами и прочими приятностями, от которых так горько бывает образованному путешественнику внутри России и еще было бы горше, когда б не русский мужик со своим терпением, бескорыстным радушием и смышленостью!

Да не подумают читатели, чтоб мы в чем-нибудь обвиняли Гоголя! Избави нас Боже от такой мысли или, лучше, такого чувства! Гоголь любит Русь, знает и отгадывает ее творческим чувством лучше многих: на всяком шагу мы это видим. Изображение самых недостатков народа, если взять его даже в нравственном и практическом отношениях, наводит у него на глубокие размышления о натуре русского человека, о его способностях и особенно воспитании, от которого зависит все его счастье и могущество. Прочтите размышления Чичикова о мертвых и беглых душах (на стран<ица> 261–264): насмеявшись, вы глубоко раздумаетесь о том, как растет, развивается, воспитывается и живет на белом свете русский человек, стоящий на самой низшей ступени жизни общественной.

Да не подумают также читатели, чтобы мы признавали талант Гоголя односторонним, способным созерцать только отрицательную половину человеческой и русской жизни: о! конечно, мы так не думаем, и все, что говорено прежде, противоречило бы такому утверждению. Если в этом первом томе его Поэмы комический юмор возобладал и мы видим русскую жизнь и русского человека *по большей части* отрицательною их стороною, то отсюда никак не следует, чтобы фантазия Гоголя не могла вознестись до полного объема всех сторон русской жизни. Он Сам обещает нам далее представить все несметное богатство *русского духа*

(стран<ица> 430), и мы уверены заранее, что он славно сдержит свое слово. К тому же и в этой части, где самое содержание, герои и предмет действия увлекали его в хохот и иронию, он чувствовал необходимость восполнить недостаток другой половины жизни, и потому в частых отступлениях, в ярких заметах, брошенных эпизодически, дал нам предчувствовать и другую сторону русской жизни, которую со временем раскроет во всей полноте ее. Кто же не помнит эпизодов о метком слове русского человека и прозвище, какое дает он, о бесконечной русской песне, несущейся от моря до моря по широкому раздолью нашей земли, и, наконец, об ухарской тройке, об этой птице-тройке, которую мог выдумать только русский человек и которая внушила Гоголю жаркую страницу и чудный образ для быстрого полета нашей славной Руси? Все эти лирические эпизоды, особенно последний, представляют нам как будто взгляды, брошенные вперед, или предчувствия будущего, которое должно огромно развиться в произведении и изобразить нам всю полноту нашего духа и нашей жизни.

Мы не можем не выписать чудного эпизода о русском прозвище и слове.

Выражается сильно российский народ! и если наградит кого словом, то пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу и в отставку, и в Петербург и на край света. И как уж потом ни хитри и не облагораживай свое поприще, ничто не поможет: каркнет само за себя прозвище во все воронье горло, и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенное метко, все равно что писаное, не вырубливается топором. А уж куды бывает метко все то, что вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а вклепывает сразу, как паспорт на вечную носку, и нечего прибавлять уж потом, какой у тебя нос или губы, — одной чертой обрисован ты с ног до головы!

Как несметное множество церквей, монастырей с куполами, главами, крестами, рассыпано на святой, благочестивой Руси, так несметное множество племен, поколений народов толпится, пестреет и мечется по лицу земли! И всякий народ, носящий в себе залог сил, полный творящих способностей души, своей яркой особенностью и других даров Бога, своеобразно отличился каждый своим собственным словом, которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженья его часть собственного своего характера. Сердцевидением и мудрым познанием жизни отзовется слово британца; легким щеголем блеснет и разлетится

недолговечное слово француза; затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово.

Замечательно, что Поэт в числе языков не отметил резким карандашом своим итальянского слова, хотя, конечно, имел все данные перед собою для того, чтобы судить об нем: это не потому ли, что русский народ в меткости и живучести слова сходится с художником-итальянцем, так, как и во многом другом, несмотря на то, что жар и мороз разделили оба народа?

Заклучим же: учителя юга и севера, Италия и Шекспир, положили печать свою на внешней и внутренней стороне фантазии Поэта в отношении к ясновидению жизни. Такое сочетание двух элементов, заметное у нас и в других поэтах, особенно же в Пушкине, обещает в будущем для русской фантазии и для русского искусства развитие многостороннее и совершенно полное. О, если бы мы могли совместить в себе внешний юг со внутренним севером, изящную пластику и форму первого и глубокую идею второго — мы достигли бы идеала в искусстве! Приятно мечтать о том и еще приятнее видеть, что наша мечта начала осуществляться в избранных представителях русского искусства, и видимое на деле предсказывает много в грядущем, особливо если мы не захотим ограничиваться каким-нибудь односторонним направлением и не будем искажать просторных русских дарований исключительным чужим влиянием, французским, как то было прежде, немецким, как бывает иногда теперь. Комический юмор, увлекая фантазию поэта и представляя ей одну только половину жизни, препятствует полноте внешнего и внутреннего ясновидения. Мы никак не скажем, чтобы это был недостаток в фантазии Гоголя: это ее свойство; но думаем также, что Поэт способен дать ей полет самый свободный и обширный, которого достало бы на обхват всей жизни, и предполагаем, что, развиваясь далее и далее, его фантазия будет богатеть полнотою и обнимет жизнь не только Руси, но и других народов, возможность к чему мы уже видели ясно в Риме Гоголя.

Отношение юмора к фантазии есть дело первой важности в поэтическом его таланте. Оба в нем — дары Божий и необходимые: поставить их в надлежащее равновесное отношение друг к другу — великая задача во всем развитии Поэта!

Это отношение само собою прекрасно определяется второю чертой фантазии Гоголя, которая состоит в тесном ее согласии с существенностью жизни, им воссоздаваемой. Как в этом произведении, так и в прежних лучших его созданиях фантазия не исчезает в мечтании произвольном, а упирается всем содержанием поэзии в глубокие основы жизни человеческой и природы, ею одушевляемой. Его поэзия не облака, без образа и значения носящиеся над землею, но Фата Моргана, идеально отражающая в небе все то, что на земле действительно происходит. Какова фантазия Гоголя, таков его и юмор, крепкою силою привязанный к корню самой жизни.

Эта черта в фантазии и юморе Гоголя есть черта собственно русская. Поэзия наша, как и философия, не способна отрешиться от жизни и перейти в какое-то бытие отвлеченное, произвольное, чуждое значения. Гофман был бы у нас невозможен<sup>12</sup>. Вся отвлеченная сторона поэзии Гете, вся ее неопределенность также не в нашем характере и привита к нам быть не может. Велик юмор Жан-Поля, но он тем отличается от гоголевского, что слишком празден и отрешен от существенного в жизни.

Гоголь сам это чувствовал в новом своем произведении и на последних страницах его (467, 468) сам указывает на глубокую связь между Поэмою его и жизнью.

Самые неудачные создания Гоголя из прежних были «Вий» и те повести в «Арабесках», в которых он подчинялся немецкому влиянию. Сюда же отнесем мы и «Нос», напечатанный в «Современнике»<sup>13</sup>.

Фантазия и юмор Гоголя чем глубже проникают в существенную жизнь, тем более крепнут, тем выше восходят; тем богаче становится содержанием и поэзия, ими создаваемая. Каждый поэт, как титан Антей, должен касаться земли: чем глубже забирает он ее, тем могучее становится и тем свободнее возносится к небу; отрешаясь от земли совершенно, он теряет силу. Таков поэт вообще, таков должен быть еще более поэт русский, судя по характеру народа; и таков наш Гоголь.

Повторим опять: ошибаются те, которые не обращают внимания на содержание поэзии Гоголя и видят в ней лишь отвлеченную художественную сторону. Это совсем не похвала ему, а кроме того, и незнание характера русской поэзии.

Потому-то скажем искренно Поэту: его фантазия и юмор должны непременно всегда касаться существенной жизни, хотя и не во-

все жить в ней, ибо искусство свободно; но чем глубже будут они проникать в действительность, тем сильнее будет их действие и тем правильнее определится их взаимное между собой отношение, от которого много зависит в грядущем развитии нашего Поэта. Вся сила и все красоты его нового произведения отсюда берут свое начало, и все недостатки его, все слабые стороны проистекают из противного, являются там, где Поэт изменяет своему коренному характеру. Когда он слишком отрешается от действительного жизни, юмор его пустеет, лишенный содержания, пускает мыльные пузыри, и смех без глубокого своего значения теряется праздным пустозвоном. Это бывает редко, но бывает везде там, где Поэт увлекся своим комическим демоном, *защутился* и слишком отрешился от действительного жизни. Чаще же всего случается это в городе, и здесь особенно на бале у губернатора и в обществе дамском, когда оно неистовствует около Чичикова. Нам кажется, что тут материалы изменили Поэту, и он поневоле отрешился от жизни и предался произволу своего комического юмора, который увлек его и нарушил характер его истиннолюбивой фантазии.

Мы назвали фантазию Гоголя *ясновидящею, истиннолюбивою*, но есть еще третья черта в художественном ее характере, черта равно русская, как и вторая: мы назвали бы ее *хлебосольною*. Да, в фантазии нашего поэта есть русская щедрость или чивость, доходящая до расточительности, свойство, выражаемое у нас старинною пословицей: все что ни есть в печи, то на стол мечи. Объяснимся. Читая «Мертвые души», вы могли заметить, сколько чудных полных картинок, ярких сравнений, замет, эпизодов, а иногда и характеров, легко, но метко очерченных, дарит вам Гоголь так, просто, даром, в придачу ко всей Поэме, сверх того, что необходимо входит в ее содержание. У Собакевича помните компаньонку за столом, а при Ноздрева его белокурого зятя, который снаружи кажется упруг, а внутри мягок: он пошел задаром и даже без имени, в придачу к характеру Ноздрева. Заговорил Поэт о тыквах-горлянках, и пришли ему в голову балалайки, и двадцатилетний парень, мигач и щеголь, посвистывающий на белогрудых девиц (стран<ица> 178). Забрел он воображением на рабочий двор Плюшкина — и ярко представилась ему картина щепного двора в Москве (стран<ица> 224). Плюшкин контрастом напомнил помещика, кутящего во всю ширину русской удали и барства, и тут явилась иллюминация сада, и ветви, чудно озаренные снизу, и вверху темное, грозное



небо, и сумрачные вершины деревьев. Все уснуло в трактире, где остановился Чичиков, лишь в одном окошечке виден свет, и вот вам в придачу шуточка на поручика, приехавшего из Рязани, большого охотника до сапогов, который примеривает пятую пару и никак не наглядится на нее. Гоголя можно сравнить с богатым русским хлебосолом, который за роскошным столом своим кроме двухаршинной стерляди, архангельской телятины и прочих солидных блюд предлагает вам множество закусок, прикусок, подливок и дорогих соусов, которые все идут в придачу к неистощимому пиру и неприметно съедаются, заслоненные главными сокровищами щедрого русского хлебосольства<sup>14</sup>. Эти придачки фантазии Гоголя имеют иногда характер высокий, иногда же, напротив, переходят в шуточку: так бывает и в русской песне, и в сказке, которые дарят вас также присловьями, то высокими, вроде следующего:

Высота ли, высота поднебесная,  
Глубота ли, глубота — Окиян море,  
Широко раздолье по всей земли,  
Глубоки омуты Днепровские<sup>15</sup>, —

то шутивными, как известные прибаутки наших сказок.

Главные свойства фантазии Гоголя отражаются и в его слове. Мы намерены посвятить особенную статью языку и слогу «Мертвых душ», а теперь обозначим только некоторые черты, связанные с предыдущим. Ясновидение фантазии его отражается и в слоге необыкновенною очевидностью. Внешняя ее сторона придает ему живопись: слог Гоголя — яркая кисть со всеми оттенками колорита: мы имели уже случай говорить об этом. Внутренняя сторона выражается чудным разнообразием в разговоре выводимых лиц, всегда изображающем живо особенный характер каждого. Согласие фантазии с существенностью жизни отразилось и в слоге чем-то *истинным*, безыскусственным: там только заметны отступления, где Поэт изменяет главному характеру своей фантазии. Наконец, третья черта сей последней — русское хлебосольство — дает печать свою и слогу: слово Гоголя — слово широкое, полное, разъемистое, плодовитое. Речь его рассыпчата, как сдобное тесто, на которое не пожалели масла; она льется через край, как переполненный стакан, налитой рукою чивого хозяина, у которого вино и скатерть нипочем; оттого-то

и период его бывает слишком грузно начинен, как пирог у затейливого гастронома, который купил без расчета припасов и не щадит никакой начинки. Словом, полная рука расточительного богача видна везде: всего вдоволь; приходит нередко на ум — хорошо бы поумереннее и поразборчивее, да боишься оскорбить благородную щедрость хозяина и лишить себя многих чудных лакомств, которые он даром сыплет на своей трапезе.

В заключение эстетического разбора «Мертвых душ» потребуют, может быть, от нас объяснения слову «Поэма»? — Полный ответ на этот вопрос можно дать только тогда, когда будет окончено все произведение. Теперь же значение слова «Поэма» кажется нам двояким: если взглянуть на произведение со стороны фантазии, которая в нем участвует, то можно принять его в настоящем поэтическом, даже высоком смысле; но если взглянуть на комический юмор, преобладающий в содержании первой части, то невольно из-за слова «Поэма» выгянет глубокая, значительная ирония, и скажешь внутренно: «Не прибавить ли уж к заглавию: Поэма нашего времени?»<sup>16</sup>

